

Иван Панаев

Хлыщ высшей школы



Иван Иванович Панаев
Хлыщ высшей школы
Серия «Опыт о хлыщах»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=660165

Аннотация

«Я хочу изобразить... чуть было не сказал воспеть, потому что предмет достоин поэмы, – самого утонченнейшего и безукоризнейшего из всех хлыщей – хлыща высшей школы (de la haute école), перед которым мой великосветский хлыщ должен показаться жалким, неуклюжим и грубым, потому что между ним и хлыщом высшей школы почти такая же разница, какая между простым, хотя и породистым пуделем, бегающим по улице, и тем изящным пуделем высшей школы, развившимся под ученым руководством г. Эдвардса, который показывается в цирке г-жи Лорры Бассен и Комп...»

Содержание

Вместо вступления	4
I	7
II	12
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Иван Иванович Панаев

Хлыщ высшей школы

(De la haute école)

Вместо вступления

Я хочу изобразить... чуть было не сказал воспеть, потому что предмет достоин поэмы, – самого утонченнейшего и безукоризнейшего из всех хлыщей – хлыща высшей школы (*de la haute école*), перед которым мой великосветский хлыщ должен показаться жалким, неуклюжим и грубым, потому что между ним и хлыщом высшей школы почти такая же разница, какая между простым, хотя и породистым пуделем, бегающим по улице, и тем изящным пуделем высшей школы, развившимся под ученым руководством г. Эдвардса, который показывается в цирке г-жи Лорры Бассен и Комп. Если бы все в мире лошади, собаки, люди, насекомые проходили чрез высшую школу – боже мой! в какую изящную, утонченную игрушку превратился бы тогда мир, но, к несчастию мира, не все одинаково способны подвергаться этой школе. И странно! всех неспособнее и непокорнее в этом случае – человек – существо разумное. Его иногда труднее вышколить, чем какую-нибудь блоху – это едва заметное, неулови-

мое и неразумное насекомое; но зато когда человек оказывается способным пройти через высшую школу – он становится прекрасен, велик, – и все шавки, пудели, лошади и блохи высшей школы бледнеют и уничтожаются перед ним!..

Если бы какой-нибудь предприимчивый и почтенный господин, вроде г. Барнума, вздумал вместо ученых собак, блох, лошадей, девиц-альбиносок, сирен и Том-Пусов развозить на удивление Старого и Нового Света любопытнейшие и отборнейшие сорта хлыщей, этот новый и оригинальный род промышленности доставил бы ему, я убежден в этом, колоссальное богатство. Нет сомнения, что особенную выгоду могли бы, в этом случае, представлять хлыщи высшей школы. На их изящнейшие манеры, на их утонченную выправку, на их бесподобную недоступность и исполненную чудной грации величавость стекались бы смотреть миллионы народа, потому что народ вообще падок на все великолепные зрелища, любит глазеть на все высшее, на все выходящее из – под обыкновенного уровня.

Я желал бы вывести перед любознательной публикой моего хлыща высшей школы во всем его блеске и красоте – так, как выставляют девиц-альбиносок, великанов и другие чудные явления природы, поставить его на вертящиеся подмостки, устланные бархатом или мокетом и уставленные бананами и другими тропическими растениями, и, тихо повертывая подмостки, доставить почтенным посетителям случай в подробности рассмотреть его со всех сторон. Но, увы! это

невозможно. Такие совершенные создания, к каким принадлежит мой настоящий хлыщ, не отдают себя напрокат, как это случается с хлыщами другого рода, — и для того, чтобы дать понятие о нем, я поневоле должен прибегнуть просто к его описанию, чувствуя заранее, что предлагаемый поверхностный снимок не передаст и десятой доли тех красот и совершенств, которыми обладает несравненный оригинал.

I

Если вы, мой читатель, принадлежите к жителям Петербурга, вам, вероятно, случалось встречать в театре, в клубе (разумеется, Английском), на улицах или в салонах (если вы ездите в большой свет) высокого, полного, средних лет господина, держащего себя очень прямо, одетого с изящною и строгою простотою, без всяких изысканных и бросающихся в глаза украшений и нововведений: без стеклышек, английских проборов и тому подобного, с движениями медленно-важными, с взглядами вечно холодными и даже несколько суровыми, с лицом неподвижным, но проникнутым высоким сознанием своего превосходства, на котором появляется только легкая тень приятной улыбки, когда господин этот заговаривает с значительным лицом или когда значительное лицо с ним заговаривает... Вы, верно, заметили, что не только его бесстрастно-прекрасное лицо, но даже его туловище, шея, ноги и руки – все одинаково проникнуто сознанием своих совершенств; что он поворачивает шею только в самых важных обстоятельствах, только тогда, когда очень значительное лицо обращается к нему или он обращается к очень значительному лицу; что он протягивает руку только избраннейшим из избранных; что он ходит так, как будто делает честь тротуару или паркету, к которому прикасается... Если вы видели такого господина – то вы уже имеете некото-

рое понятие о наружности моего хлыща высшей школы. Его монументальная и торжественная фигура даже напоминает несколько Командора в «Дон-Жуане»...

Не подумайте, мой провинциальный читатель, чтобы я преувеличивал перед вами совершенства моего героя – из благоговейного уважения к нему. (Я употребляю возвышенное слово герой, вышедшее ныне из употребления, потому что говорю о возвышенном предмете.) Какое преувеличение, помилуйте!.. я ссылаюсь на весь великосветский Петербург... Все, имеющие счастье пользоваться знакомством его, подтвердят вам, что он ведет себя с такою безукоризненностию, с какою может только вести себя господин, прошедший чрез все искусства высшей школы. Никто и никогда не видел его ни на улице, ни в театре, ни в клубе с человеком, не принадлежащим к высшему свету, с *incopni*; никто и никогда не видал его смеющимся, он позволяет себе только слегка улыбаться в известных случаях, как замечено выше; никто и никогда не видел его удивляющимся, – он ничему не удивляется, как все люди безукоризненного тона; никто и никогда не заметил, чтобы в разговоре он возвышал или понижал голос, – он говорит плавно, ровно, спокойно, и каждое слово, вылетающее из уст его, должно, кажется, осчастливить того, к кому относится; никто и никогда не видал его аплодирующим в театре, потому что аплодируют люди увлекающиеся, то есть люди плохо вышколенные или просто люди дурного тона. Даже и в такие исключительные минуты, когда, быва-

ло, Рубини в «Лучии», в сцене проклятия, потрясал весь театр своими раздирающими душу звуками и невольно извлекал слезы даже из глаз людей хорошего тона, и их заставлял забываться, аплодировать и кричать вместе с толпою, — даже и тогда он оставался в своем обыкновенном, бесподобном и величавом равнодушии.

Надобно видеть, с какою почтительною ловкостью, тихо, не суетясь, его изящная прислуга подает ему шинель или пальто, когда он выезжает из дома; с каким благоговением провожает его гордый и толстый швейцар и усаживает в сани; с каким глубоким уважением капельдинер, кланяясь, отворяет ему дверь его абонированной ложи; как увивается около него дворецкий Английского клуба в тот день, когда он кушает в клубе. Но все эти знаки почтения, благоговения, подобострастия пропадают даром. Он, кажется, не подозревает о существовании на свете лакеев, швейцаров, капельдинеров, дворецких и прочего и полагает, что все является и отворяется перед ним, все снимается с него и надевается на него по мановению волшебного жезла. Один только раз он чуть-чуть повел глазом на своего лакея, у которого белый галстух был несколько измят и имел не совсем свежий вид, и, обратясь к своему мажордому, произнес строго-спокойным голосом: «Чтоб этого сегодня же не было здесь...»

В клуб герой мой приезжает обыкновенно позже всех и садится за особенный стол... За обедом он кажется еще прекраснее. Он кушает с большим аппетитом, но не обнаружи-

вает его ни взглядами, ни движениями, как люди грубые и дурно воспитанные; вино, кажется, он не пьет, а только вдыхает в себя его аромат, хотя его бутылка опорожняется к концу обеда так же, как и у других, которые просто пьют. После обеда он садится за карты и играет по большой и с людьми значительными. Он к картам не имеет особенной страсти (да и вообще он не имеет никаких страстей, потому что страстями одержимы только люди вульгарные), а играет по расчету, для поддержания своих связей и значения, сохраняя постоянно величавое равнодушие и спокойствие при выигрыше и при проигрыше... Но виноват, — я, кажется, увлекаюсь моим героем, забегаю немного вперед и заранее прошу у читателя извинения только за небольшое отступление по поводу карт. Я не могу на минуту не остановиться на этом предмете. Карты вещь очень серьезная. Если вы не умеете играть в карты, мой благосклонный читатель, учитесь, учитесь скорей, не теряя времени. Посредством карт в Петербурге (я не знаю, как в других европейских столицах) завязываются наитеснейшие связи, приобретаются значительные знакомства, упрочивается теснейшая дружба и, что важнее всего, получают выгоднейшие места. Приобретя опыт жизни, я очень сожалею теперь, что не посвятил себя в начале моего поприща изучению ералаша, преферанса с табелькой, пикета и палок. Кто знает, по примеру многих других, я через карты легко мог бы сделать прекрасную карьеру, и вместо того чтобы подвизаться на неблагодарном и скользком

литературном поприще, я уже пользовался бы теперь значением, имел бы приличный моим летам чин, был бы окружен подчиненными, смотрящими мне в глаза, распоряжался бы участью нескольких сот подведомственных мне людей (что очень приятно) и преследовал бы всех сатирических писателей, которые раскрывают, как говорит Гоголь, «наши общественные раны»... Однако все это нейдет к делу, и мне давно пора сказать, какое общественное положение занимает мой утонченный герой в свете, и познакомить любознательных читателей с его биографией.

II

Он сын очень почетного отца, который умом, трудолюбием и, как прибавляют люди злоязычные, вкрадчивостью и лицемерием сам проложил себе блистательную карьеру. Почтенный родитель прозывался Белогривовым, от села Белые Гривы, в котором родился, и оттого еще, может быть, что волосы его в детстве были белы, как лен. Это прозвище так и осталось за ним, и никто, конечно, не подозревал, что со временем оно обратится в громкую и блестящую фамилию. В летах отрочества он бегал еще по деревне в затрапезном халате, а в сорок пять лет пользовался уже значением в Петербурге и вступил в брак с девицею довольно известной дворянской фамилии, за которою взял 500 душ. На шестидесятилетнем возрасте он достиг всего, к чему с такой жадностию стремятся люди: чинов, окладов, почета, уважения, связей. В Новый год и светлый праздник столы его были завалены визитными карточками с самыми блестящими именами, а в передней лежали груды листов, исписанных посетителями. В домашней жизни бог также благословил его. Супруга его была дама очень привлекательной наружности и приятных форм, кроме того, обладала замечательными нравственными достоинствами: характером твердым и решительным, вследствие которого держала бразды домашнего правления очень туго, и глубочайшим знанием светского такта и всех мелоч-

ных светских обычаев и привычек. Ее любовь к супругу и заботливость о нем не имели границ: она сама распоряжалась всеми его деньгами; сама разбирала отчеты по имению; сама назначала ему камердинеров и сменяла их по своему произволу; сама ежедневно клала в его бумажник известную сумму денег; приказывала, каких лошадей закладывать в его карету; безусловно распоряжалась постоянно находившимся при нем курьером, – и один взгляд генеральши имел силы несравненно более, чем слово генерала, повторенное десять раз... «Друг мой, – говорила она с чувством супругу, – ты слишком занят важными государственными делами, и я не допущу тебя входить ни в какие домашние дразги. Это уж мое дело». Дети (им бог даровал двух прелестных малюток – мальчика и девочку) развивались также под ее исключительным и неусыпным наблюдением.

Нежная и любящая мать в мыслях своих приготавливала для них блистательную будущность и все воспитание их направила на то, чтобы сделать их безукоризненными в светском отношении. Им предстояла важная обязанность, высокий долг поддерживать честь и славу рода Белогризовых.

В характере этих детей, с самого раннего детства, обнаружилась резкая разница. Виктор, любимец матери и герой этого рассказа, был истинным утешением родителей. Его называли необыкновенным ребенком, и он был действительно необыкновенный ребенок, потому что, к удивлению взрослых, не кричал, не шалил и не резвился, как обыкновенные

дети. Прекрасный, румяный и полный малютка во всем обнаруживал что-то вроде рассудительности, сдержанности и как будто чувства собственного достоинства. Он входил в комнату, раскланивался, танцевал, играл в куклы, говорил с другими детьми и даже катал обруч по дорожке сада с серьезностью и важностью, приводившею в восторг не только его родителей, но даже и посторонних. Виктором все восхищались и все отзывались об нем с похвалою, исключая, впрочем, домашней прислуги, с которою он обращался, несмотря на свой нежный возраст, так повелительно и с таким пренебрежением, что маменька даже принуждена была останавливать его замечаниями, что с людьми надо быть повежливее. Но, останавливая его, она в то же время думала с тайным удовольствием и гордостью, что так рано обнаруживающееся в нем отвращение ко всему низшему – признак благородной крови Балахиных, которая течет в его жилах (генеральша была урожденная Балахина). Лакеи и горничные, не принимая этого в соображение, смотрели на барчонка с совершенно другой точки зрения и так отзывались о нем: «Вишь, щенок, еще чуть от земли видно, еще молоко на губах не обсохло, а туда же, как большой, хорохорится и горло дерет».

Сестра Виктора, Сонечка, была девочка худенькая, бледная, слабая здоровьем и ничем особенным не отличавшаяся от других детей. Она, в противоположность своему брату, пользовалась большим благоволением всей дворни за свою доброту и мягкость, которые выражались в ее бледных ка-

рих глазах и во всех чертах ее привлекательной белокурой головки. Но зато Сонечка, несмотря на то, что была старше брата двумя годами, не умела вести себя с достоинством, не имела того такта, которым так изумительно владел Виктор чуть не с колыбели; она была одинаково приветлива и радушна с маленькой княжной Мери, своей сверстницей, и с Катюшкой, дочерью ключницы. Ни попечительная мать, с тайным сокрушением смотревшая на нее, ни неподвижная мисс Генриетта, ее гувернантка, воспитывавшая некогда, по ее словам, мисс Арабеллу, дочь какого-то лорда, и исполненная самых аристократических претензий, не могли внушить Сонечке того чувства гордого сознания, которое бесспорно должно было одушевлять девушку, — дочь отца, так высоко стоявшего на ступенях общественных почестей, девушку, предназначенную для высшего света... Кровь Балахиных еще молчала в ней.

Однажды на даче, гуляя с мисс Генриеттой, Сонечка (ей было уже в это время лет тринадцать) повстречала нищую, хорошенькую девочку лет восьми, в лохмотьях, которые едва прикрывали ее. Девочка эта очень понравилась Сонечке, которая остановила ее, с участием расспрашивала — откуда она и кто она? и сказала ей, чтобы она зашла к ним на дачу. Бедная девочка эта целый день не выходила у нее из головы, даже снилась ей ночью. На следующее утро она не отходила от окна, поджидая ее, и когда та явилась, Сонечка чуть не вскрикнула от радости, побежала ей навстречу и

тихонько провела ее в свою комнату. Она надарила ей разных вещей и так растрогала девочку своею добротою и ласкою, что та со слезами бросилась к ней и схватила ее руку, чтобы поцеловать; но Сонечка отдернула руку и поцеловала девочку... В минуту этого поцелуя на пороге двери появилась строгая и неподвижная мисс Генриетта. Такое зрелище привело бывшую воспитательницу дочери лорда в страшное негодование... Она приказала сейчас нищей выйти вон и, обратясь к своей воспитаннице, прочла ей длинное, строгое и красноречивое наставление, мысль которого заключалась в том, что хотя благотворительность — дело похвальное и хотя помогать бедным должно, но водить к себе в комнату нищих, обниматься и целоваться с ними девушке столь высокого происхождения неприлично и непростительно. Мисс Генриетта ссыалась на свою бывшую воспитанницу, мисс Арабеллу, умевшую всегда соединять похвальные движения сердца с чувством своего аристократического достоинства, и наконец привела Сонечке в пример ее собственного брата, который, несмотря на то, что моложе ее, мог уже служить для нее во всех отношениях образцом. Сонечке постоянно все беспрестанно ставили в пример брата; она не могла не видеть, что вся нежность родителей была обращена к нему, и, несмотря на это, ни малейшее чувство зависти не смущало ее. Она чувствовала к нему самую нежную привязанность с детства.

До пятнадцати лет она обнаруживала характер очень вос-

приимчивый, сообщительный, живой и пылкий. Она передавала брату все впечатления, ощущения и мысли, начинавшие зарождаться в ней. Она искала в нем отзыва и сочувствия, но всякий раз после своих задушевных признаний чувствовала какую-то внутреннюю неловкость. Брат выслушивал ее спокойно и равнодушно, без всякого участия, и Сонечка объясняла это тем, что он не может еще понимать ее, потому что слишком молод.

Пылкость ее начинала, однако, охлаждаться с годами, может быть, вследствие болезненного состояния, которое усиливалось в ней вместе с ее ранним и быстрым нравственным развитием, на которое никто не обращал внимания. В восемнадцать лет у нее обнаружили такие грудные страдания, которые она, при всей своей терпеливости, не могла скрывать. Созван был консилиум. Доктора решили, что она имеет расположение к чахотке и что поэтому за ней необходимо иметь строгий медицинский надзор. Домашний доктор Белогривовых, очень важный господин, пользовавшийся в городе огромною репутациею и доверенностию, представил к ним в дом одного молодого доктора, который должен был, под его главным руководством, иметь постоянное наблюдение за ходом ее болезни. Молодой доктор начал ездить в дом Белогривовых всякий день. Он ухаживал за больною с необыкновенною заботливостию и вниманием, и через несколько времени она заметно стала поправляться. Доктор продолжал, однако, навещать ее так же часто. Он был чело-

век образованный, большой поклонник Шекспира и Вальтера Скотта и, кроме того, страстный охотник до музыки. Он скоро сделался у Белогризовых почти домашним человеком. Генерал и генеральша оказывали ему большое внимание, видя его заботливость о больной; мисс Генриетта полюбила его за то, что он говорил с нею по-английски и декламировал наизусть монологи из «Гамлета» и «Отелло»; Софья Александровна (в это время никто уже не называл ее Сонечкой) обнаружила к нему также большую симпатию: она была тронута его участием и вниманием к ней; притом его образование, ум и расположение к музыке — все это производило на нее сильное впечатление. У нее были очень замечательные музыкальные способности, и она играла на фортепьянах с большим вкусом, тонкостью и чувством. Доктор также играл на фортепьянах недурно, и они иногда вместе разучивали любимые пьесы. Она до того привыкла к доктору, что в тот день, когда он не приезжал, чувствовала, что ей как будто недостает чего-то.

На ее привязанность к нему, усиливавшуюся постепенно, не обращал никто внимания. Генерал видался с детьми два раза в день: на минуту утром, когда они приходили с ним здороваться, и за обедом. Генеральша привыкла смотреть на доктора как на домашнего человека, как на своего дворецкого или на свою ключницу, и подозрение о привязанности к нему ее дочери не могло даже прийти ей в голову. К тому же она приняла доктора под особое свое покровительство,

потому что он лечил даром всю генеральскую дворню.

Когда здоровье Софьи Александровны поправилось, ее вывезли в свет, но после двух или трех балов болезненные припадки ее снова возобновились, — и эти выезды должны были прекратиться к ее величайшему удовольствию, потому что после каждого бала маменька, недовольная ею, делала ей очень жесткие выговоры и читала предлинные морали. Генеральша огорчена была тем, что появление в свет ее дочери не произвело того впечатления, какого она желала и могла надеяться. Выговоры эти обыкновенно оканчивались упреками, что на ее воспитание не щадили ничего, что на нее потратили тысячи и что она, несмотря на все внимание и заботливость об ней, не оправдывает ожидание родителей, и так далее.

Софья Александровна выслушивала эти упреки и выговоры молчаливо и переносила их с покорностью и твердостью. Иногда только, когда гнев ее маменьки, по какому —нибудь незначительному поводу, выходил из пределов и разражался оскорбительными и вовсе не светскими выходками (генеральша была горяча), Софья Александровна прибегала к брату и высказывала ему свое огорчение. Виктор Александрович был в это время уже студентом. Он обыкновенно молча выслушивал ее и, с свойственною ему рассудительностью не по летам, говорил, что если маменька и не совсем справедлива в отношении к ней, оскорбляя ее некоторыми словами и замечаниями, которые бы, конечно, не следовало произно-

силь, то, в сущности, она все-таки права, потому что желает ей добра, и беспрестанно твердил ей, как и маменька, о том, что ей необходимо выезжать чаще в свет.

После одного из таких объяснений с братом ей пришла в первый раз в голову мысль, что он человек холодный, без сердца. Как ни отгоняла она от себя этой мысли, но она неотвязчиво преследовала и мучила ее несколько дней. Софья Александровна старалась, впрочем, всячески оправдывать брата и уверяла себя, что эта мысль совершенно нелепая; что Виктор, напротив, имеет прекрасное сердце, порывы которого он только боится обнаруживать, и что эту наружную холодность и недоступность он заимствовал от своего воспитателя, имевшего на него большое влияние, бездушного формалиста г. де Шардона, который был помешан на старой французской аристократии, разыгрывал какого-то маркиза и не признавал никаких авторитетов, кроме Лагарпа, Баттё, Буало и Генриха V. Она не принимала в соображение, что неподвижная и суровая мисс Генриетта не успела же задушить в ней, несмотря на все свои усилия, человеческие увлечения и порывы сердца. Сваливая всю вину на г. де Шардона, Софья Александровна обыкновенно несколько успокаивалась. Несмотря на это, она перестала быть откровенной с братом. Характер ее заметно изменялся, она становилась серьезнее, сосредоточеннее, начинала, кажется, чувствовать пустоту и холод блестящей среды, ее окружавшей, и свое одиночество. Единственный человек, которому иногда

она высказывалась, был доктор.

Софье Александровне был уже двадцать один год. Здоровье ее было слабо, и поэтому выезжала она в свет редко. Маменька, глядя на нее, начинала приходить в беспокойство и помышлять, каким бы образом прилично устроить ее участь.

Виктор Александрыч, окончив между тем курс в университете, определился в министерство иностранных дел и в первый раз явился в свете на бале княгини Красносельской. На этом первом дебюте он имел счастье быть замеченным одной очень почетной старушкой, которая нашла, что он прекрасно держит себя: с тактом, с почтительностью к старшим и между тем с достоинством, и что многие молодые люди, гораздо поважнее его происхождением, могли бы брать с него пример...

Однажды, когда Виктор Александрыч сидел в своей комнате, только что окончив обделку своих ногтей и машинально перелистывая Готский альманах, свою любимую настольную книгу, мечтал о своих будущих успехах в свете, в комнату его вошла сестра. Ее бледное и болезненное лицо было бледнее обыкновенного, в ее глазах, почти всегда задумчивых и грустных, выражалась сила и энергия, тогда как в движениях и в походке была нерешительность и почти робость. По всему было заметно, что в душе Софьи Александровны совершалось что-то необыкновенное и что это посещение было не даром.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.